

О трансформации некоторых особенностей поэтики и литературных мотивов Пушкина в «Дневнике лишнего человека» Тургенева

*Мариэтта Турьян**

Проблема истоков и философского содержания произведений Тургенева, созданных им художественных образов включает в себя и вопрос о предшественниках писателя, повлиявших на формирование его мировоззренческих и художественных принципов. Немецкий тургениевед Вальтер Кошмаль выдвинул плодотворную идею о «бинарной текстовой структуре» произведений Тургенева — иными словами, о наличии в его текстах двух семантических рядов: внешнего, легко прочитываемого, и внутреннего, несущего наиболее глубокий и важный смысл и образующего то идейное и философское поле, которое принято называть подтекстом.¹ Дальнейшее изложение будет ориентировано на это общетеоретическое положение, касающееся, как очевидно, художественного метода Тургенева.

Известно, что начало 1850-х годов исследователи творчества Тургенева единодушно связывают с его отходом от художественных принципов «натуральной школы» и с явной переменой творче-

* Мариэтта Андреевна Турьян — доктор филологических наук, член Союза писателей СПб'а, член Русской Академической Группы в США. Автор монографии *Странная моя судьба... О жизни В. Ф. Одоевского* и составитель книг *Антоний Погорельский. Избранное* и *В. Ф. Одоевский. Пестрые сказки* («Литературные памятники»). Ей принадлежат также исследования о В. Ф. Одоевском, Достоевском, Тургеневе и о проблемах русского «фантастического реализма».

ской манеры. Первым же произведением, которое оказалось за порогом «натуральной школы» и по существу ознаменовало рождение новой, психологической прозы в творчестве писателя, справедливо считается «Дневник лишнего человека». Настоящая работа не ставит своей задачей целостный анализ повести; она будет рассмотрена здесь только в одном аспекте: с точки зрения преломления в ней принципов пушкинской поэтики и его художественных открытий в области прозы.

То, что «Дневник лишнего человека» как бы окружен пушкинской аурой и находится в поле его притяжения, было замечено еще современниками Тургенева. Писали об этом и позднейшие исследователи, сосредоточивая, однако, свое внимание главным образом на функциональном значении использованных Тургеневым пушкинских стихотворных цитат, дополняющих новыми штрихами психологический портрет Чулкатурина.²

В своей речи при открытии памятника Пушкину в 1880 году Тургенев, формулируя непреходящее значение пушкинских новаций, говорит о том, что Пушкин оставил своим литературным воспреемникам «множество образцов» и «типов того, что совершилось потом в нашей словесности», и среди нескольких важнейших, с его точки зрения, примеров подобных «типов» называет, между прочим, «Летопись села Горюхина». Развивая далее свою мысль, он вносит принципиальное уточнение касательно диалектической природы «типов»: в результате смены эпох, — говорит он, — творческие завоевания Пушкина «стали служить другим началам».³

Думается, этот тезис писателя нашел свое прямое воплощение в «Дневнике лишнего человека», что отметил уже А. Григорьев, тонко уловивший сложный характер тургеневской интерпретации художественных открытий Пушкина. В связи с «Дневником лишнего человека» критик говорит об усвоенном Тургеневым «белкинском» взгляде на мир и о том, что

процесс моральный, обнаруживающийся в «Гамлете Щигровского уезда» и в «Дневнике лишнего человека», поразительно сходен с тем процессом, который породил у Пушкина его Ивана Петровича Белкина, — как по исходным точкам, так и по самым последствиям.

Однако вместе с тем, по его мнению, отношения Тургенева к действительности

вовсе не такие прямые и простые, как отношения Ивана Петровича Белкина; в действительности он видит повсюду только самого себя, свое болезненное настроение, и колорит этого настроения переносит на все, чего бы он ни коснулся...⁴

К разговору о «болезненном настроении» мы еще вернемся, но вначале — о том, что прежде всего бросается в глаза: о жанровой близости двух произведений и возможной типологической параллели их героев-«летописцев», один из которых безыскусно повествует «летопись» страны, по имени столицы своей Горюхиным называемой», с отведенным ей на земном шаре пространством в 240 десятин и числом жителей в 63 души, другой — «летопись» только одной, собственной своей души.

Приступая к «Дневнику лишнего человека», Тургенев со всей очевидностью держал в памяти этот пушкинский «образец»: его Чулкатурин помечает свои подневные записи точно так, как неизменно начинал их прадед Ивана Петровича Белкина Андрей Степанович: «4 мая. Снег» ... «8 — погода ясная. 9 — дождь и снег» ... «11 — погода ясная. Пороша». У Чулкатурина: «24 марта. Трескучий мороз. 25 марта. Белый зимний день. 26 марта. Оттепель. 27 марта. Оттепель продолжается. 29 марта. Легкий мороз; вчера была оттепель. 30 марта. Мороз».

Еще одна, крайне важная, ассоциация касается курьезной даты рождения бесхитростного горюхинского летописца — 1-е апреля — даты, получившей зеркальное отражение в «Дневнике лишнего человека»: 1-го апреля умирает Чулкатурин. Однако об особом смысле этой реплики в контексте эпилога тургеневской повести — речь также впереди. Пока же необходимо отметить явную соотнесенность «Дневника» с «Историей села Горюхина».

В своей содержательной статье, касающейся типологии главного персонажа «Дневника лишнего человека», Ю. В. Манн коснулся и жанрового своеобразия повести, высказав мысль о том, что «‘дневник’ Чулкатурина — не совсем дневник» и что в свете фактического его содержания (воспоминание лишь об одном эпизоде жизни) и собственных заявлений героя («...Не смешно ли начинать свой дневник, может быть, за две недели до смерти?») — заявленный жанр как бы «отменяется».⁵

Однако, как кажется, это утверждение требует некоторых уточнений. В самом деле, если разграничить текст и подтекст днев-

ника, то на поверку на первый план выступает в нем последнее и едва ли не самое важное — то, что кардинально влияет на понимание глубинного смысла тургеневского повествования: подтекст фиксирует, пользуясь формулировкой Манна, «монотонное накопление признаков болезни и приближающегося конца». Таким образом, если внешняя, сюжетная канва рассказа Чулкатурина, посвященная прошедшему, действительно не укладывается в рамки обозначенного жанра, то подтекст вполне ему соответствует и данное повести жанровое определение вполне оправдывает: перед нами — дневник, но не в традиционном его событийном наполнении, которое в данном случае принадлежит иному жанру, а в наполнении, так сказать, исключительно духовном — это «летопись», история большой души, и уже в этом можно усмотреть весьма симптоматичное смещение акцентов в самом понимании природы обозначенного Тургеньевым жанра повести.

Более того, по мнению А. Григорьева, тональность дневника Чулкатурина предопределена «болезненным настроением» самого Тургенева и его вовсе не простыми и не прямыми отношениями с окружающим миром. Однако это утверждение критика нуждается в расшифровке и принципиальной коррекции, которую легко обнаружить в той же пушкинской речи Тургенева. Говоря о причинах охлаждения последующих поколений к великому поэту, Тургенев со всей определенностью назвал главную из них — закон исторического развития, согласно которому в России произошла смена эпох, и страна вступила из литературной эпохи в политическую, выдвинувшую небывалые потребности и поставившую новые вопросы, «на которые нельзя было не дать ответа». Однако всякое переходное время, — продолжает Тургенев, — «неизбежно сопряжено с болезнями, мучительными кризисами, с самыми злыми, на первый взгляд безвыходными противоречиями». Но даже в этих тяжких обстоятельствах только близорукие, по его убеждению, могут оплакивать прежнее спокойствие и пытаться вернуть его.

...Дело мыслящего человека, истинного гражданина своей родины — идти вперед, несмотря на трудность и часто грязь пути, но идти, не теряя ни на миг из виду тех основных идеалов, на которых построен весь быт общества, которого он состоит живым членом.

Это программное утверждение писателя дает четкий ключ к пониманию интересующих нас проблем. Именно в силу смены исторических эпох спокойное «миросозерцание Пушкина» показалось следующему поколению «узким», а «его классическое чувство меры и гармонии — холодным анахронизмом» (XII, 347-348). Теми же общественно-историческими причинами объясняется и «болезненное настроение» самого Тургенева, ощущающего глубокую сопричастность «болезням» и «противоречиям» своего времени. Однако, двигаясь вперед и преодолевая «грязь пути», он, как мыслящий человек, опирается на «основные идеалы» — в их числе, на великие завоевания национального поэта, которые, однако, в силу исторических судеб, должны служить теперь «другим началам».

Так пушкинский «образец» — «История села Горюхина» — обретает под пером Тургенева иное наполнение. Изменяется не только самый объект художественного исследования — вместо истории жизни 63-х душ — история одной души, но и его принципы, диктуемые историческим моментом и состоянием общества, что находит прямое свое отражение в мироощущении героев обоих произведений. На смену горюхинскому летописцу с его абсолютной внутренней гармонией и столь же гармоничными отношениями с окружающим миром, приходит рожденный новой эпохой человек, эту гармонию утративший: он заражен рефлексией, переживает, по слову Н. Страхова, «разрыв с действительностью» и, как следствие, мир его резко сужается. Главным в подобном мироощущении становятся самосознание и самооценка, порождающие крайний субъективизм, отчуждение от мира и психологию «лишности». Связанная с этим художественная задача писателя — постичь природу этой «лишности» и тайны психологии «лишнего человека» — предопределяет и художественный принцип использования в повести «чужого слова».

Первая парафраза пушкинской цитаты из «Полководца» появляется в «Дневнике лишнего человека» в записи Чулкатурина, повествующей о его изгнании из дома Ожоговых, и уже самый характер дневникового текста, предваряющего пушкинскую строку и придающего ей совершенно определенный, отличный от пушкинского, эмоциональный и смысловой оттенок, весьма симптоматичен:

Итак, я страдал, как собака, которой заднюю часть тела переехали колесом. Я только тогда, только после изгнания моего из дома Ожогиных, окончательно узнал, сколько удовольствия может человек почерпнуть из созерцания собственного несчастья. О люди! Точно, жалкий род!... (IV, 204).

Как известно, «Полководец» посвящен «стоическому» Барклаю де Толли и разрабатывает тему его личной трагедии как трагедии исторической. Цитируемая строка взята из заключительной строфы:

О люди! Жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и умиленье!

Первоначально эта строфа была вложена Пушкиным в уста самого Барклая. Однако, как убедительно доказала Н. Н. Петрунина, поэт отказался от этого варианта еще в процессе работы, придав ей нынешний вид. «Тем самым слова Барклая из частной сентенции выросли до размеров историко-философского обобщения».⁶ В сознании Пушкина концовка «Полководца» по существу своего содержания перестала быть монологом Барклая — обиженным судьбой и людьми человека. В высшей степени интересно, что Тургенев, согласно своей художественной задаче, устами Чулкатурина не только возвращает пушкинским словам их первоначальный, но лишь едва мелькнувший у поэта смысл, но и развивает болезненную логику этого смысла, заставляя своего героя упиваться собственным несчастьем.

Вторая, наиболее важная цитата из Пушкина, венчает «Дневник лишнего человека». Эпилог тургеневской повести, кульминация предощущения конца «лишнего человека», со всеми перепадами его болезненного сознания, принадлежит к одной из самых блистательных страниц психологической прозы Тургенева. Однако текст этот исполнен сложных ассоциацией и требует достаточно осторожного прочтения. Чрезвычайно важно, что последние слова дневника, его смысловая точка, отданы Пушкину — заключительной строфе вершинного образца его медитативной лирики

«Брожу ли я среди улиц шумных...» В исследовательской литературе утвердилось мнение о том, что эти пушкинские строки знаменуют собой предсмертное просветление Чулкатурина и примирение его с жизнью. Между тем многосмысловой контекст эпилога с особой настойчивостью побуждает вновь вспомнить о принципе бинарной структуры тургеневских текстов и попробовать с этой точки зрения прочитать конец повести еще раз.

До сих пор, кажется, не было замечено, что в предпоследней своей записи Чулкатурина как бы предваряет цитирование пушкинских строк их прозаическим, парафрастическим пересказом, в котором не только использует пушкинскую мысль, но в одном случае буквально повторяет и начальную фигуру стиха: И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть / И пусть хорошо будет людям лежать в вашей пахучей тени... Далее: И равнодушная природа красую вечною сиять. / Когда придет лето, смотрите, не забудьте сверху донизу покрыться цветами...

А. Григорьев, обратив внимание на пантеистическую тональность эпилога, справедливо заметил, что само «пантеистическое» здесь болезненно. В свете только что сказанного это общее замечание критика, прямо приложимое к пушкинской цитате, объясняет и характер деформации мысли поэта. Более того, следующий за приведенным «пантеистическим» пассажем текст как бы бросает на исполненные элегического настроения и внутреннего трагического накала строки совершенно иной, неожиданный свет:

Прощайте, прощайте! Прощай всё и навсегда! Прощай, Лиза! Я написал эти два слова — и чуть-чуть не засмеялся. Это восклицание мне кажется книжным. Я как будто сочиняю чувствительную повесть или оканчиваю отчаянное письмо... (IV, 214-215).

Трезвая, горькая самоирония словно аннулирует, уничтожает возвышенный порыв плывущего сознания — именно плывущего, так как процитированным выше прощальным словам предшествует фраза: «Я, кажется, начинаю бредить». Итак, в полубреду из-под пера измученного сознанием своей «лишности» героя вновь вырывается нечто для предсмертных минут несообразное: «книжная» чувствительная повесть — или отчаянное письмо.

Парадоксальная двойственность этой самооценки — разы-

грывается то ли фарс, то ли трагедия — которая к развязке будет стремительно набирать силу, очень важна, ибо она напрямую относится и к парафразе пушкинской строфы, определяя ее функциональное значение и смысл в контексте тургеневской повести. Что до самого Чулкатурина, то он мазохистски склоняется к фарсовому варианту: самый день предчувствуемого им конца — 1-е апреля — кажется ему хоть и «неприличным», но вполне к нему идущим, логично завершающим «маленькую его комедию», из которой единственный для него выход — «уничтожение», переход в абсолютное небытие.

Однако за этим следует еще один трагический взлет — предсмертные минуты, запечатленные в последних строках дневника:

Пора! Смерть уже не приближается с возрастающим громом, как карета ночью по мостовой: она здесь, она порхает вокруг меня, как то легкое дуновение, от которого поднялись дыбом волосы у пророка...

Я умираю. Живите, живые!

И пусть у гробового входа

Младая будет жизнь играть,

И равнодушная природа

Красою вечно сиять! (IV, 215)

В этом стремительном кресчендо, несущем читателя к пику трагической развязки, разрешающейся, как кажется на первый взгляд, катарсисом и просветлением, выраженным стихами Пушкина, требует особого комментария библейское сравнение, принципиально важное для точного понимания подтекста и глубинного смысла этой развязки.

Комментарий в академическом Собрании сочинений Тургенева без дополнительных разъяснений отсылает нас к ветхозаветному эпизоду из Книги Иова — к адресованной праведнику Иову поучительной речи одного из его друзей Елифаза (IV, 597). Однако точность этой отсылки вызывает некоторые сомнения — хотя бы по двум простым причинам.

Во-первых: тургеневское сравнение текстуально, казалось бы, действительно близко к указанному библейскому источнику, однако дело в том, что комментатор идентифицировал эти тексты по сидональному изданию, которого в то время, когда писалась повесть, еще просто не существовало — оно появилось лишь в 1876

году. Тургенев мог читать Библию на старославянском или, скорее всего, как было широко принято тогда, по-французски, а оба эти источника, насколько известно, дают подчас существенные стилистические разночтения с позднейшим синодальным переводом. Но, даже пользуясь им, можно обнаружить и смысловое несоответствие с тургеневским текстом. У Тургенева: «...она здесь, она порхает вокруг меня, как то легкое дуновение, от которого поднялись дыбом волосы у пророка». В поучительной же речи Елифаза говорится вовсе не о смерти, а о явлении Бога, о вести с Неба:

И вот, ко мне тайно принеслось слово,
и ухо мое приняло нечто от него.
Среди размышлений о ночных видениях,
когда сон находит на людей,
объял меня ужас и трепет,
и потряс все кости мои.
И дух прошел надо мною;
Дыбом стали волосы на мне.
Он стал

— но я не распознал вида его,
— только облик был пред глазами моими;
— тихое веяние, — и я слышу голос:
— человек праведнее ли Бога?

(Книга Иова. 4; 12-17)

Более ранний, неканонический и запрещенный русский перевод Книги Иова дает, например, такие разночтения этого текста:

Пронесся предо мною дух,
волоса на теле моем стали дыбом.
Он остановился; лица его я рассмотреть не мог,
только облик стоял пред глазами моими
Тишина... И слышу потом голос...

(Иов или Судьбы Божии в раздаянии счастья и несчастья непостижимы для человека. 4; 15-16.
Священные книги Ветхого Завета в переводе Герасима Петровича Павского. ([СПб., 1838-1839]).

Во-вторых: Елифаз вовсе не был пророком — совсем наоборот. Он был фактически самозванным наставником Иова, отрицав-

шим его праведность, за что Бог Елифаза осудил, признав в Иове праведника.

Следует напомнить, что этот знак явления Бога — «тихое веяние» — наряду с другими (огнем, громом, бурей) в Ветхом Завете далеко не единичен. Мы находим его, например, и в Третьей Книге Царств, в гораздо более близком по смыслу тургеневской повести эпизоде с последователем Моисея пророком Илией — заметим, действительно пророком — когда тот, удрученный вероотступничеством сынов Израилевых, просит себе у Господа смерти. Однако Господь не внял Илие, но велел ему идти на гору Хорива, где Он некогда в огне явился Моисею с повелением вывести из Египта народ Израиля. Здесь же является Он и Илие:

И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом: но не в ветре Господь. После ветра землетрясение: но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь: но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра (и там Господь) (Третья Книга Царств. 19; 9).⁷

Кстати, в отличие от малоизвестной речи Елифаза этот библейский эпизод был очень популярен и читался в церквях на престольный праздник в честь Пророка Илии — Ильин день.

Конечно, не установив и не обследовав библейские издания, которыми мог пользоваться писатель, нельзя с абсолютной уверенностью настаивать на том или ином источнике тургеневского текста. Однако для нас важно другое: «легкое дуновение», или, по Библии, «тихое веяние» — знак явления Бога, гласа Господня, вершинный момент в жизнеописаниях тех библейских персонажей, кому Господь являлся.

Именно это и ощутил Чулкатурин в последние свои земные минуты, исполнившиеся торжеством откровения: его мысли обращены к Богу, он словно узрил Его. И вот после этой вершинной, звенящей ноты перед последним шагом в инобытие Чулкатурин вдруг начинает говорить стихами. Это производит впечатление абсолютного психологического нонсенса. Ему уже не отделаться, не победить нелепость собственной природы — его словно несет, и он слабеющей рукой торопится дописать «чувствительную повесть». Но и ее пронизывают трагические ноты. Пушкинская цитата,

вставленная в иной философский и психологический контекст, обретает и иное смысловое звучание. Нельзя не заметить при этом тенденциозность выбора самой цитаты, на что обратил внимание Ю. В. Манн, указав на тот главный смысловой акцент, который по логике чулкатуринского характера должен был быть для него важным: это строка о «равнодушной природе». ⁸ Наблюдение исследователя представляется тем более справедливым, что эта строка как нельзя более корреспондирует с предшествующим безысходным восклицанием героя: «Живите, живые!» ⁹ — усиливая и подтверждая вовсе не примирение его с судьбой, но крайнюю степень отстраненности, кульминационное и трагическое отчуждение от мира, который он покидает и в котором ему так и не нашлось места. Это прямо противоположно пушкинской онтологии, его спокойному и мужественному взгляду на закон жизни, залогом продолжения которой является в его глазах и сама смерть. Эта общепушкинская идея подкреплена не только всем содержанием цитируемых в «Дневнике» стансов, но и поздней медитативной лирикой поэта — и Тургеневу это, конечно, было прекрасно известно. Сознательная же деформация этой идеи, как и в случае с «Полководцем», выражена в разрыве между подлинным смыслом «чужого слова» и крайним субъективизмом его интерпретации. Пушкинские стихи в контексте тургеневского эпилога начинают работать на убийственную, горькую иронию, которой этот эпилог пронизан.

Нельзя при этом не вспомнить и размышления о смерти горюхинского летописца: «Кажется и мне, — говорит пушкинский герой, — что написав Историю Горюхина я уже не нужен миру, что долг мой исполнен и что пора мне опочить.» «Исполнен долг, завещанный от Бога мне грешному...» Миротворная, эпическая интонация резко контрастирует со смятенной картиной умирания Чулкатурина, и эта разница смыслов идентична характеру использования и интерпретации Тургеневым пушкинских стансов.

Архитектонику эпилога тонко определил Лев Шестов: «Очевидное дело, — писал он, — Тургенев держался того мнения, что за каждой трагедией должен следовать водевиль...» ¹⁰ Не случайно эта исповедь показалась нелепой и чуждой полуграмотному, но в общепринятом смысле здравому и далекому от понимания тонкостей рефлектирующего сознания Петру Зудотешину, не одобрявшему рукопись Чулкатурина. Его юмористическая приписка вслед за неумело, но залихватски набросанным профилем с хохлом и уса-

ми и с глазом в фас «отвечает на «дневник», претендует по отношению к нему на место высшей инстанции, выносит ему приговор».¹¹ И приговор этот в самой своей снисходительной небрежности — беспощаден.

Говоря о «Примечании издателя», А. Григорьев отметил в нем две важные вещи: «белкинский тон *издателя*» и то, каким «до цинизма горьким надругательством над личностью» кончен «Дневник лишнего человека». «Примечание», как и эпилог в целом, трагикомично, но трагический элемент здесь усилен зловещей игрой смыслов, дающей возможность некоей объективации оценок, то, в чем А. Григорьев справедливо усмотрел «белкинский тон», «нарочитое самоустранение издателя».¹²

И, наконец, последнее: дата смерти Чулкатурина. Вначале уже было сказано, что она является зеркальным отражением даты рождения горюхинского летописца, но если в пушкинском тексте она лучится мягкой иронией, как бы задавая тон всему последующему повествованию. то в «Дневнике...» она мрачна и ретроспективна. О том, что Тургенев придавал этой дате особое значение, свидетельствуют черновики повести — он ее искал, перебрав три варианта. Первый из них: «...г-н Чулкатурин точно умер 1-го апреля 184...года»; второй — «точно умер вечером 1-го апреля» и, наконец, третий и окончательный: «умер в ночь с 1 на 2 апреля 18...года» (IV, 216).¹³ Смерть 1-го апреля — смерть водевильная, конец «маленькой комедии», 2-го — конец вдруг обретает серьезный, трагический оттенок. И в этой последней точке повести Тургенев последовал пушкинскому «образцу», сохранив за ним функцию камертона, но кардинально изменив его тональность и придав ему двойственный смысл, осложненный не свойственным Пушкину судорожным и болезненным смехом, «взятым в трагическую минуту».¹⁴

Примечания

¹ W. Koschmal, *Vom Realismus zum Symbolismus: Zu Genese und Morphologie der Symbolsprache in der späten Werken I. S. Turgenews* (Amsterdam, 1984).

² См., напр.: В. М. Маркович, «'Дневник лишнего человека' в движении русской реалистической литературы», *Русская литература* (1984), № 3, стр. 107-114; Ю. В. Манн, «Истинно лишний человек» (К типологии центрального персонажа повести И. С. Тургенева «Дневник лишнего человека»), *И. С. Тургенев. Жизнь, творчество, традиции* (Будапешт, 1994), стр. 140-151.

³ И. С. Тургенев, *Полное собрание сочинений и писем* в 30 тт. Соч. в 12 тт. Изд. 2-е, испр. и доп.: т. 12 (М., 1986), стр. 346-348. В дальнейшем ссылки на это издание с указанием тома и страницы — в тексте.

⁴ А. Григорьев, «И. С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа *Дворянское гнездо*. Статья первая», А. Григорьев. *Литературная критика* (М., 1967), стр. 249-250.

⁵ Ю. В. Манн, ук. соч., стр. 143-144.

⁶ Н. Н. Петрунина, «Новый автограф 'Полководца'», *Временник Пушкинской комиссии*. 1970 (Л., 1972), стр. 21-22. Ее же «Полководец», *Стихотворения Пушкина 1820-х-1830-х годов* (Л., 1974), стр. 296-297.

⁷ За указание на этот эпизод приношу благодарность отцу Николаю Балашову.

⁸ Ю. В. Манн, ук. соч., стр. 146.

⁹ Возможно, эти слова — парафраза заключительных строк баллады Жуковского «Торжество победителей» (1828):

Смертный, силе, нас гнетущей,
Покоряйся и терпи;
Спящий в гробе, мирно спи;
Жизнью пользуйся, живущий

¹⁰ Л. Шестов, *Тургенев* (Ardis, 1982), стр. 11.

¹¹ Ю. В. Манн, ук. соч., стр. 146.

¹² А. Григорьев, ук. соч., стр. 254. См. об этом также: К. К. Истомина, «*Старая манера*» Тургенева (1834-1855 гг.). *Опыт психологии творчества* (СПб, 1913), стр. 95-97.

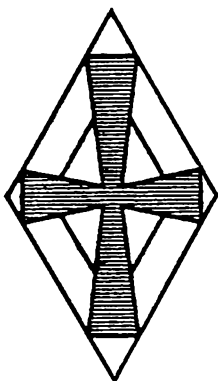
¹³ См. А. Н. Дубовиков, «Дневник лишнего человека». Черновой автограф, *Тургеневский сборник*, вып. 5 (Л., 1969), стр. 111.

¹⁴ А. Григорьев, ук. соч., стр. 249, 253.

ЗАПИСКИ

РУССКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
ГРУППЫ В США

ТОМ XXX



VOLUME XXX

TRANSACTIONS
OF THE ASSOCIATION OF RUSSIAN-
AMERICAN SCHOLARS IN THE U.S.A.

NEW YORK

1999-2000